Ян БРУШТЕЙН

ЕВРЕЙСКОЕ СЧАСТЬЕ

Ян Борисович Бруштейн родился в 1947 году в Ленинграде. Кандидат искусствоведения. Работал в областных газетах, преподавал в вузах, руководил независимыми телеканалами. Публиковался в журналах «Юность», «Знамя», «Волга», «Дружба народов», «Сибирские огни», «Дети Ра», «День и Ночь», «Крещатик», «Зинзивер» и др. Автор семи поэтических книг, стихи переведены на украинский, белорусский, польский и английский языки. Член Союза российских писателей и Союза писателей XXI века. Серебряный лауреат конкурса им. Н. Гумилёва, дипломант Международного конкурса им. М. Волошина. Лауреат премии «Поэт года» (2013). Живёт в Иванове.

Абрам и Лиза

...Дед Абрам был тихий, негромко-весёлый, любил незло так подшутить над близкими, за что регулярно получал тычка от крупной и дородной нашей бабушки.

Бабуля умудрялась слыть едкой, громкой и нежной одновременно. С круглым татаристым лицом. По её непроверенной версии, она и была татаркой, взятой во младенчестве шестнадцатым ребёнком в еврейскую религиозную семью. После смерти родителей-дворников соседи не бросили, выкормили и воспитали.

Она единственная из нас знала иврит, читала Тору и молилась. А с дедом на идиш всё больше ругалась, чтобы мы с братом не поняли. Как я любил её имя — Лииза, бабуличка Лизулечка, Лизацветик... И она меня, первого внука, обожала. Всё шутила: «За что мы не любим наших детей? Наши дети — это наши враги. За что мы любим внуков? Наши внуки — враги наших врагов!»

Но когда, настигнутая блокадой, совсем ещё не старой умерла моя мама (я только вернулся из армии, застал её последние дни), мы все поняли, как бабушка любила единственную дочку. Похожая на облако Лизуля наша как-то сдулась, поникла и всё повторяла: «Не дай вам Б-г пережить своих детей...»

Потом мы переезжали из города в город, и старики влеклись за нами, как нитка за иголкой. Родных, кроме нас, у них не было: все погибли на Украине в гетто, во рвах и печах крематориев... И везде дедушка, прекрасный обувщик-заготовщик, как-то быстро находил «неофициальную» работу. Видимо, подпольные цеховики были уже в любом городе СССР! Ставил свой ножной, ещё дореволюционный «Зингер» в кладовке, на толстую резину, чтобы соседи не услышали и не донесли «куда следует», да и шил, шил, всё больше по ночам.

Безумно, до обморока и сонного предутреннего плача, боялся фининспектора и «обехеесес». Но как-то проскочил, ни разу по-серьёзному не попался. Видимо, спасало и то, что дважды фронтовик, все это знали, и пионеры приходили поздравлять с праздниками, и на стене висела подаренная Котовским шашка, к которой дед даже прикасаться боялся. И мне, малому, всполошённо кричал: «Яничка, деточка, не трогай, обрежешься!» Потом в музей отдал. Там была смешная табличка: «Шашка бойца бригады Котовского Абрама Пятницкого». А деда бывший разбойник, потом знаменитый красный командир, восхитившийся новой обувкой, просто-напросто мобилизовал сапожником! Оружия наш крошечный дедуля никогда в руках не держал, кроме одного раза.

В Отечественную, после прорыва блокады, его, уже немолодого мужчинку, семейного, снова призвали, по личному распоряжению будущего маршала артиллерии Николая Воронова, тоже из-за понравившихся сапог. Так и служил при штабе, шил сапоги да ремонтировал.

Но однажды был прорыв немцев. Штаб в отсутствии начальства оказался под угрозой, и мой тихий дедушка взломал оружейку, вооружил всякое чмо — писарчуков, похоронную бригаду, поваров и тому подобных тихушников — и повёл обороняться. Их бы, конечно, прихлопнули мгновенно, но подоспели наши танки, и всё устаканилось. Так дед и не повоевал. Я его потом спрашивал, стал бы он стрелять в людей. Он долго и мучительно думал, но потом всё-таки сказал: «Они не люди, они фашисты...»

Позже ему сам Воронов медаль «За отвагу» на грудь повесил.

...Хоронили дедушку с салютом, с речью офицера из военкомата. Бабушка прожила ещё много лет. Однажды пришли навестить — бабуля категорически отказывалась жить с нами в одном доме, «любите меня издали, а то надоем» — а она лежит

на полу, на чистом одеяльце, на спине, ручки пухлые сложены, умытая, одетая в нарядное, и не дышит.

Мотл, сын Шаула

Две семьи моих стариков разительно отличались друг от друга.

Проста и неприхотлива была жизнь маминых родителей: дед сапожничал, а бабушка торговала газировкой возле своего же дома на Пушкарской. Имея за спиной по три класса хедера — еврейской начальной школы, они были природно интеллигентны, тактичны и легко общались с людьми любых уровней и положений.

Папины родители были, по тем временам, покруче, однако чинами не мерялись и зазнайством совершенно не отличались.

В первую секунду знакомства дед Матвей ошарашивал своей некрасотой. Его невероятный череп выдавал врождённую, видимо, гидроцефалию, но на умственных качествах она нисколько не отражалась. Искромётно остроумный, многогранно образованный, дед на первых же минутах разговора вызывал общий интерес и восхищение.

Я помню его уже очень больным, тяжело и мучительно передвигавшимся, но, вопреки всему, он сыпал шутками, всех развлекал и утешал, а розыгрышам вообще не было пределов. В доме часто бывали знаменитости из Мариинки, много пели, смеялись, и дед во всём всегда верховодил.

Судьба его была под стать доставшемуся этому поколению невероятному, счастливому и страшному времени. Вырос он в тени громадной фигуры моего прадеда.

Прадед, судя по рассказам знавших его, был действительно грандиозен. Он уже зрелым человеком приехал в Россию из Дортмунда торговать лесом. Собрал плоты и по Балтике на буксире повёл их в Швецию. Дело было осенью, налетел шторм, плоты разметало так, что ничего и никого нельзя было спасти: буксир сразу отошёл подальше и не совался в это месиво из брёвен. Сумел выплыть только один человек — мой прадед.

Поскольку капитал был потерян, он так и остался в России и до самой смерти проработал бригадиром плотогонов на Онеге и Ладоге — озёрах штормовых, гиблых. Плотовщики считали его заговорённым, поскольку больше он ни одного бревна не потерял. Побаивались его буйного характера, но и уважали за лихость и недюжинную силу.

Погиб прадед в 92 года (был абсолютно здоров и даже все зубы имел свои) странно и страшно: чужие плотовщики по пьянке решили насильно окрестить могучего старика-еврея. И в свалке то ли столкнули его в воду, то ли сам он бросился под плоты — так этого никто и не узнал…

«Шаул родил Мотла», когда прадеду перевалило уже крепко за семьдесят. Дитя было точно от

него, тут уж никакие инсинуации невозможны: дед вырос уменьшенной копией родителя-гиганта.

До двадцати лет дожил, имея за пазухой всё тот же трёхклассный хедер, работал кочегаром. Но после революции и Гражданской войны, уже при НЭПе, подался на рабфак и после него, как отличник, был послан в Лондон, в Высшую коммерческую школу. По пути выучил наизусть разговорник, а за первый год учёбы довёл свой английский до вполне приемлемых пределов.

Вернулся он уже в другую страну, первые массовые посадки прошли волной и смели в том числе тех, кто его посылал в Англию. Приткнуться дед сумел в конторе по управлению искусствами, как уж там она ни называлась, в которой настолько проявил себя, что вскоре был назначен заместителем директора знаменитой Мариинки, в то время уже носившей имя убиенного С.М. Кирова. И проработал в этой должности до своей послевоенной тяжёлой болезни.

Директора театра менялись, часто это были фигуры декоративные, и реально всем сложным хозяйством рулил именно он, сын буйного плотогона.

Самая тяжкая ноша легла на плечи моего деда Матвея в военные годы. Ему пришлось вывозить театр в эвакуацию в Пермь, организовывать жизнь большого творческого коллектива в очень непростых условиях. При этом семья — моя бабушка Роза и консерваторка тётя Фрума — оставались в Ленинграде, пережили блокаду с первого до последнего дня. Спасло их, видимо, то, что будущий мой отец — их сын и брат, отказавшись от актёрской брони, воевал здесь же, на границе Ленинграда, и порой, вырываясь на побывку, подкармливал родных из своего скудного солдатского пайка. Неслучайно потом всю оставшуюся жизнь он мучился от непроходящей блокадной цинги.

А дед Матвей тем временем вкалывал как проклятый, тянул на себе огромное театральное хозяйство, участвовал в создании ныне знаменитого Пермского хореографического училища и находил время разыскивать пропадавших по деревням творческих людей.

Об это мне потом, когда я учился в ГИТИСе, рассказывала Дора Борисовна Белявская — педагог по вокалу, профессор, воспитавшая Татьяну Шмыгу, Тамару Синявскую и ещё множество знаменитых певцов. У неё в первые же дни эвакуации украли продовольственные карточки, и дед сделал всё для совершенно до того не знакомого человека: устроил на работу, добыл жильё и прокормил до конца месяца.

Людям вокруг казалось, что он двужильный. А на самом деле переходил на ногах два инфаркта — и от перенапряжения, и от трёх сообщений, что его сын пропал без вести: когда выходил из окружения и когда воевал в штрафбате, а потом во фронтовой разведке.

Окончательно деда свалила похоронка, тоже ошибочная, но тяжёлый инфаркт-то был настоящим!

В начале пятидесятых каждое лето дед снимал дачу в Сестрорецке или Разливе. И вот там-то я от него попросту не отходил. С моим Мотей было так весело и здорово, он столько знал историй и игр… Но порой я видел, как закусывал дед губу от какой-то невозможной боли и отворачивался к стене, пока не приходил в себя.

Когда дед умер, мне, пятилетнему, долго не говорили. Мы ведь с ним были такими друзьями!..

Имя моего отца

…мой отец. Папа. Суровый и нежный, взрывной и трогательный. Для меня всегда — друг. Пример и упрёк в моём вечном разгильдяйстве. В молодости был чемпионом Ленинграда по боксу. Великолепный фехтовальщик — потом это позволит самому ставить бои на сцене.

За его спиной была война, с первых дней (ушёл добровольцем, отказавшись от актёрской брони), с блокадного Ленинграда — его родного города, в солдатских чинах, фронтовым разведчиком-радистом, снайпером и артиллерийским корректировщиком — дважды вызывал огонь на себя!

Был одним из немногих, выживших на Невском пятачке, — сумел переплыть Неву по шуге. Потом тяжёлые ранения и контузии. В Синявинских болотах потерял голос и не смог потом вернуться в питерскую Александринку, где до войны талантливо начинал актёрствовать. Потом в театрах о нём сплетничали, что «зашитый», бывший алкоголик, потому и сипит жутко. А он не пил. Вообще. Организм не принимал. Его алкоголем был театр.

…Поступил в питерскую консу, окончил блистательно, стал режиссёром музыкального театра. И пошёл работать в драмкружок на один из ленинградских заводов. В театры никуда не брали. Он был «внучатым учеником» расстрелянного Мейерхольда. Руководитель его курса, поздний ученик Мастера, стал одним из персонажей разгромного постановления ЦК. Ждал ареста, но, к счастью, вовремя умер от инфаркта. Дипломникам предложили написать в документах другого руководителя курса. Все согласились. Фронтовик Борис Бруштейн отказался.

Через год рванул в ЦК и грохнул полученным на фронте партбилетом по столу всесильного Суслова. Требуя или выгнать из страны, или расстрелять, или дать работу. Странно, но не арестовали, как ожидал. На следующий день поехал в Улан-Удэ, в оперный театр. Потом были Новосибирск, Свердловская оперетта, Пятигорск… Уезжал, обычно разругавшись с начальством. Талантами царедворца не обладал. В Свердловске «сцепился» с Ельциным, который пытался руководить творческим процессом.

Потом посмеивался, глядя на президента в «ящике».

По той же причине за всю жизнь так и не дождался никаких отличий. Великий оперный режиссёр и друг Борис Покровский говорил о тёзке: «У него нет званий, но есть имя...»

Папа сам считал, что в Иванове были его лучшие 10 лет. Золотые спектакли. Гастроли в обеих столицах. Так называемую «классическую оперетту» не жаловал за слабую драматургию, брался ставить, только если было хорошее либретто. Делал мюзиклы, когда и слова-то такого никто не знал.

Его любили и побаивались. Вылетал на сцену, ошарашивая показами. Яростно хрипел на бестолковых и ленивых. Рассказывали, что однажды хмельной рабочий сцены, увидев идущего навстречу главрежа, от ужаса и предчувствия неизбежной расплаты выпрыгнул в окно. Со второго этажа. И долго бежал к горизонту под хохот актёров. Может, и миф, конечно... Но не без причины возникший.

Его актёры были лучше всех. Трогательные, романтичные, комичные. Самозабвенные. Никогда не забуду, как в Москве сломавший ногу актёр-комик, играя Короля в «Обыкновенном чуде», должен был пронестись по сцене в стремительном танце. Станцевал как никогда. На одной ноге.

Потом, когда отец уехал, снова «не сойдясь характерами» с чиновниками, были отличные спектакли в других театрах, но «ивановский феномен» уже не повторился.

Я вот всё думаю: не стыдно ли ему за меня?..

Горячка

Я очень долго почти ничего не помнил о своём детстве. В последние годы оно проявляется эпизодами, яркими и подробными.

Пока порог — три года. Оттуда я помню, как стою и смотрю сквозь доски забора, а папа и мама уходят, и такое горе... Мама потом рассказала, что это меня отвезли с детским садом на дачу, я продержался неделю, и в первые же выходные мамочка не выдержала. Она увидела мой полный тоски взгляд, вернулась... и забрала меня домой! Но этого память уже не удержала. Только слышу, как причитает надо мной бабушка на непонятном языке: «Фейгелэ, фейгелэ...»

Вот и сегодня вспомнил, как будто кино смотрел...

Мы тогда жили в общежитии Пятигорского театра музкомедии, оно располагалось с тыла, между театром и Горячей горой. На этом чудесном, исхоженном отдыхающими пригорке мы, мелкая шелупонь, и проводили всё возможное время: объедались зелёной алычой, пили в «Цветнике» тухлый нарзан, в результате, выпучив глаза, убегали в ближайшие заросли сирени, распугивая немолодых курортниц, развлекавшихся с отпускными кавалерами или местными жиголо...

Здесь мы устраивали настоящие сражения с такими же недорослями-казачатами из станицы Горячеводской, которая распласталась по ту сторону Горячки-горы. Дрались без злобы, но до крови. Это было особым шиком: припереться домой с кровавой юшкой, размазанной по лицу. И заявить рыдающей маме: «А мне совсем не больно!»

Все комнаты общежития выходили на огромный балкон — крышу склада декораций. Здесь ели, пили, любили, женились, ругались и даже дрались порой! Все молодые артисточки были восхитительны, я их по-мальчишески обожал, а они меня всячески привечали и воспитывали…

А ещё там, за Горячкой, были сады и бахчи!

Честно говоря, эти яблоки и дыни были нам на фиг не нужны: на пятигорских рынках местные плоды стоили сущие копейки, в урожай ящик абрикосов (огромных, продолговатых, медовых) можно было купить дешевле, чем бутерброд с мыльной колбасой в школьном буфете. Так они и стояли вдоль сбегающих вниз улиц — штабеля ящиков, и по асфальту тёк подбродивший в жару сок, и вились тучи небольших, но кусачих ос…

В общем, налёты на казачьи сады и бахчи мы совершали скорее ради сладкого чувства опасности и чтобы показать свою щенячью лихость. Заканчивались наши походы чаще всего благополучно: нас или не замечали, или со смехом угощали плодами от пуза.

Но иногда, особенно в совхозных садах, случалось нам нарваться на принципиального сторожа с берданкой, заряженной солью. Вот тут надо было тикать со всей возможной скоростью, что мои товарищи и делали.

Беда была в том, что поспеть за ними мне не всегда удавалось: сын блокадников, я был перекормлен бедной моей мамой, которая пуще всего боялась голода! Так что рос я весьма упитанным и медлительным мальчиком. Преодолеть это удалось только в отрочестве, когда папа отвёл меня к знакомому тренеру по классической борьбе и попросил сделать «из этого мешка» человека… Это, конечно, уже другая тема, но процесс оказался довольно мучительным, однако вполне успешным, что потом очень меня выручило в армии.

В нашей же истории, пока я разгонялся, сторож успевал шарахнуть вслед зарядом соли, и дважды я получал полную порцию в спину и пониже. В первый раз я со страшной скоростью долетел до нашей горной речки Подкумок и долго отмокал в ледяной воде. Во второй раз меня задело так крепко, что я вообще не мог идти, а не то что бежать…

Перепуганный сторож, одноногий фронтовик в потёртом пиджаке с медалью «За отвагу», долго отмачивал мою заднюшку в тазу с тёплой водой из бочки, причитал и потчевал меня исходящими соком грушами. А потом набил ими мой детский рюкзачок. Так что домой я вернулся с добычей!

...Горячка, родная моя, крепко ли сидит на постаменте твой бронзовый орёл? Не сорвался ли в полёт — туда, где в ясную погоду сверкает своими белыми горбами Эльбрус? Не выродилась ли твоя алыча? Обживают ли тебя нынешние пацаны?

Как же я по тебе соскучился...

Сердце, икра и залом

Видел тут в интернете фотографию, на которой богатая дама кормит своего кота чёрной икрой... Меня передёрнуло!

Дело в том, что в нежном возрасте я получил две сильные прививки от этого деликатеса, так что теперь моему тощему пенсионному кошельку сей тип чревоугодия не угрожает.

Я родился через два года после войны. Жили мы не то что совсем бедно, но достаточно скудно. Мама болела после блокады, так до конца и не оправилась, и работать не могла. Папа учился в Ленинградской консерватории на режиссёрском и подрабатывал где и как только мог. Зимой зависал на копеечной должности — ассистентом режиссёра в оперной студии при консерватории, а летом трофейной «лейкой» фотографировал отдыхающих на пляже в Сестрорецке. Вот это давало, при достаточном количестве солнечных дней, сносный доход, которого хватало уже не только на серые макароны, но и на картошку и всякую летнюю зелень.

А вот на мясо денег оставалось редко. В сезон мама прямо на берегу покупала вкуснейшую и почти ничего не стоящую рыбку корюшку, потом наступала очередь всякой другой балтийской рыбёшки, так что летом мой растущий организм получал достаточно белка.

Зимой было труднее. Мама старалась, пекла мне толстые блины, вареньем рисовала на них рожицы... но я уже не мог смотреть на это лакомство и мечтал о куске колбасы.

Жили мы в огромной старой квартире на Петроградской стороне, которую деду Матвею выделили как заместителю директора Кировского (Мариинского) театра. Одна большая комната была наша, две маленьких занимала чудесная моя тётка Фрума с семьёй, а где умещались бабушка Роза с дедом Матвеем, я так никогда толком и не узнал: видел их разве что в нашей общей кухне. Жили они получше нас. Когда гордого папы не было дома, старались нас с мамой подкормить. Но и им в то скудное время продуктов с трудом хватало. Дед, видите ли, был порядочным человеком и на большой своей театрально-хозяйственной должности не воровал.

И вот однажды, мне тогда было года четыре, бабушка где-то разжилась почти чёрным огромным коровьим сердцем. Его варили в ведре полдня, и запах по всей квартире распространялся оглушительный и прекрасный! Я был таким голодным, таким несчастным, что забился в пыльный угол между шкафом и окном и сидел там на корточках, просто утопая

в слезах. Меня нашла мама — видимо, услышала сдавленные завывания — и я совсем раскис.

— Они едят, а нам не дают! — сквозь слёзы жаловался я.

Но тут, толкнув дверь своим обширным бюстом, в нашу комнату вплыла моя тётушка, и в каждой руке у неё было по тарелке, и на каждой исходили паром восхитительные тёмно-красные ломти.

— Ну вот, наконец сварились… — и тетя Фрума брякнула тарелками о стол.

Вот тут мне стало совсем плохо, от стыда за свои дурные мысли я окончательно разрыдался.

Господи, как же было вкусно жевать эти резиновые куски! Видимо, прежнего хозяина этого органа забили накануне естественной кончины… но всё было съедено непоправимо быстро. Однако такая лафа случалась не каждый день. И папа нашёл прекрасный, по его мнению, выход.

В послевоенные годы на витринах ленинградских магазинов гордо высились пирамиды из стограммовых стеклянных баночек с чёрной икрой. Видимо, «наверху» решили подкормить блокадников. Покупали икру плохо, несмотря на бросовую цену, — еда казалась непривычной. И вот папа стал откармливать меня этой, на мой детский вкус, гадостью: она так напоминала ненавистный рыбий жир! День за днём, неделю за неделей, месяц за месяцем… Этот ужас мне до сих пор снится. Каково же было облегчение, когда икра вдруг из магазинов исчезла, а где осталась, уже стоила как положено — дорого.

Я не думал, не гадал, что эта беда обрушится на меня ещё раз.

Это было в Пятигорске. Папа весьма успешно работал в местной оперетте очередным режиссёром и неожиданно был приглашён в Астрахань на постановку спектакля. Результат местному начальству глянулся, и молодого режиссёра начали приглашать довольно регулярно. Из каждой такой поездки папа привозил чемодан… набитый банками и колёсами чёрной икры! Кошмар вернулся. Прессованную икру нарезали толстыми ломтями и клали на тонкие кусочки хлеба. Я был уже ответственным второклассником и ел её безропотно, хотя и с тайным отвращением.

Утешало одно: вместе с икрой непременно прибывали две-три копчёные рыбины. Это была знаменитая большущая каспийско-волжская селёдка залом. Папа покупал помельче, сантиметров по 35-40, это получалось дешевле, да и полуметровая в чемодан не влезала.

Разворачивались несколько слоёв вощёной бумаги, и являлась королева всех селёдок!

Ничего вкуснее я до сей поры не ел. Что там осетрина или сёмга! Ломти залома были прозрачными, на них выступали капельки восхитительного сока, а запах разносился такой, что соседи по театральному общежитию начинали скрестись в нашу дверь, несли

с собой разварную картошечку, пышный белый хлеб, горы кинзы и лука, головки чеснока, маринованную черемшу и непременную бутылочку «Столичной» — к возмущению моего трезвенника-родителя.

Пиршество продолжалось до полного уничтожения божественной снеди и надолго запоминалось небогатым жрецам Мельпомены.

— Не бойся, — шептал мне папа на ухо, — я несколько кусочков тебе на завтра припрятал!

И я облегчённо вздыхал.

Салик

Его звали Салман, а дружески — Салик. Нам было по 14 лет, и, если я впервые попал в горы, он здесь себя чувствовал хозяином. Тем более, что его старший брат Ваха был нашим инструктором в этом альплагере «Архыз».

Сначала мы подрались. Из-за девочки, по-глупому. Он мне ловким ударом разбил губу, а я, рослый и занимавшийся борьбой, так швырнул худенького горца, что тот попросту впечатался в землю, прошитую толстыми корнями архызских сосен. Потом долго прихрамывал и смотрел на меня страшновато, исподлобья.

Легкомысленная девочка, проигнорировав нас обоих, уже гуляла с высоченным московским задавакой, Ваха строго поговорил с братом, всё успокоилось, но Салик продолжал меня сторониться.

Пришло время первых уроков скалолазания. На учебной стенке — не слишком высокой скале — мы отрабатывали это непростое умение. Мне, увальню, горная наука давалась трудно. Тем более, что в связку со мной Ваха (уж мне эта педагогика!) поставил более опытного брата. Его мрачная насупленность отвлекала и не давала сосредоточиться. А ведь от напарника в горах зависит всё, даже сама жизнь.

Первую стенку я как-то осилил, но, когда мы перешли на более сложную скалу, произошло, как я теперь понимаю, неизбежное: я сорвался. Высота была плёвая, метров девять, но переломаться можно было серьёзно — это всё равно, что сверзиться с третьего этажа. Однако маленький Салик, казалось, зубами вцепился в скалу, почти сросся с ней и сумел меня удержать... Потом долго дул на ладони, обожжённые верёвкой, и что-то осуждающее ворчал на непонятном мне языке.

Почти всю ночь мы проговорили на веранде нашего домика — как прорвало! Я узнал, что Салик — нохчо, по-нашему чеченец, что он живёт в чудесном городе Аргуне, что бабушка и дед остались после выселения в Казахстане. Он смешно вытаращил глаза, когда узнал, что я еврей. Тут же торжественно сообщил, что в их школе любимый учитель — Рувим Моисеевич...

А на заре мы решили стать побратимами! Укололи ножиком пальцы, выдавили по капле крови на кусок хлеба, разломили

пополам и съели. Не думаю, что это имело какое-то отношение к горским обычаям, скорее было чем-то книжно-пиратским, из подростковых мифов.

Много лет потом мы не часто переписывались и перезванивались. Виделись совсем редко, но всегда казалось, что расстались только вчера. Когда я служил в армии, Салик учился в пединституте, в родном моём Пятигорске. Стал учителем русского языка и литературы в Грозном.

В начале девяностых Салман прислал мне письмо: «Начинается страшное. Снова будет Кавказская война...» Потом я узнал, что он погиб в девяносто четвёртом, во время первого же штурма Грозного, от шального снаряда.

Салман Талбоев, мой побратим, никогда не держал в руках оружия.

Перевал

Горы, альпинисты ... я эту тему в стихах изжил множество лет тому назад. Даже не начав. Одномоментно. И навсегда.

Мы шли автономку через шесть кавказских перевалов. До мелочей помню тягловый перевал Халега (там есть озерцо, тоже Халега, а по-нашему, горнотуристскому — «Холера», дно у которого тогда было сплошь покрыто немецким оружием, минами и снарядами, и мы, юные придурки, ныряли среди плавающих льдин, достали два насквозь ржавых «Шмайссера», один даже со снаряженным магазином), спуск к речке Марухе и Марухскому перевалу, это где немцев — горных егерей — держал тот самый отряд альпинистов, о котором пел Высоцкий. Мы оказались среди первых групп, их откапывавших из-под снега и выкалывавших изо льда…

Мне было всего-то 15 лет, но, думаю, именно на Марухе заработал я свои первые седые волосы. Когда забрались мы на ледник, бордовый в закатном свете, неожиданно обнаружили большой свежий скол и там, за тонкой, голубой, совершенно прозрачной линзой увидели девушку в пилотке и плащ-палатке, прилегшую лбом на рацию. Следов смертельного ранения не было видно, только розовая, жутко красивая в своей неподвижности, размытая по краям змейка застыла в холодной глубине льда…

А ледник постепенно превращался из вишнёвого в чёрный, и уже едва просвечивала щека юной радистки с морозным, нежным румянцем, и девчачья ручка в перчаточке с обрезанными пальцами словно растворялась во времени. Мы стояли молча, пока вдруг наша толстушка Люська не завыла истошным бабьим причитанием… Я плакал, как и все. И понимал, что вот, горная романтика закончилась. И стихи-песенки о ней — тоже.

Еврейское счастье

Я служил тогда в роте разведки морпеховской ракетной бригады, в славном городе Майкопе. Был ещё чистым таким, непуганым духом и, как истинный дух, не вылезал из караулов. Однажды ранним утречком я стоял, а точнее — безуспешно боролся со сном возле какого-то склада, окружённого тремя рядами колючей проволоки. До смены оставался час с хвостом, а кемарить стоя я научился в армии быстро.

Треск ломаемых кустов и рвущейся колючки буквально подбросил меня вверх. Я только и успел, что заорать: «Стой, кто идёт!» До предупредительного выстрела, а тем более до пальбы на поражение дело не дошло, поскольку нарушитель, как нож сквозь масло, ни на секунду не останавливаясь и неразборчиво матерясь, пронёсся сквозь все заграждения. Глаза мои от удивления и ужаса буквально повисли на ниточках, когда я в паре метров от себя увидел огромного кабана-секача с окровавленными боками!

Стрекача, извините уж за неуместную рифму, я, бросив на фиг автомат, дал по-спринтерски, мгновенно достиг ближайшего бетонного столба и взлетел на его вершину неведомым мне до сей поры способом. И повис там, вцепившись во что попало.

Последующий час я провёл, впадая из отчаяния в ужас и обратно. Дело в том, что кабан, цвет глаз которого мог поспорить с кровью от царапин, оставленных колючей проволокой, и от заметной раны, нанесённой, видимо, неумелым охотником, напал на мой личный столб с яростью и неумолимым упорством. Насест мой трясся, руки одеревенели, а секач всё долбил бетон, вышибая из него приличные куски и крошки. При этом продолжал нецензурно рычать и визжать.

Для того чтобы уронить столб и добраться до меня, ему не хватило каких-то минут. Помешал наряд во главе с моим сержантом дедом Славой Гусаком. С ходу бойцы врезали из четырёх автоматных стволов по кабану, но зверь ещё несколько минут порывался встать и их атаковать… Меня снимали со столба с помощью лестницы и монтировки, которой разжимали мои одеревеневшие пальцы.

— Еврейское твоё счастье, — съехидничал сержант, который, как истинный западэнец, был по определению антисемитом. — Вот посидишь на губе за то, что автомат бросил!

Но я этой перспективы почему-то совершенно не испугался, как будто чувствовал, что гауптвахта на предстоящие три года станет для меня буквально домом родным. К тому же я не отрываясь смотрел на основание столба, похожее на недоповаленное бобром дерево.

Выйдя с губы, я узнал, что кабана успешно оприходовали наши «старики», а самые лакомые запчасти были переданы в офицерскую столовую. Никаких

разбирательств по поводу стрельбы в расположении части и неуставного расходования боеприпасов не проводилось.

Жизнь с рыбами

Ещё в стародавние советские времена на улицах унылых и голодных провинциальных городов одномоментно, ближе к осени, появлялись огромные алюминиевые кастрюли с живыми рыбами. Возле них устанавливались разнокалиберные тётки с весами. И озверевший от доставания хлеба насущного народ резво кидался за диетпродуктом.

(Вот, надо посчитать, сыну моему Максу на днях стукнет сорок восемь, тогда ему было пять, то есть это произошло примерно в году в 1975-м. Ух ты, как раз мы с женой создавали трио «Меридиан»!)

Так вот, гуляючи с дитём, я, охваченный стадным чувством, тоже накупил толстых этих байбаков, сколько смог унести, и ещё Макс подобрал мелкого полузасохшего на раскалённом асфальте карпёнка.

Повинюсь: двух рыб я, стеная и хватаясь за сердце, угрохал и пожарил сам, поскольку моя благоверная вокально визжала, когда видела, как куски карпа шевелятся прямо на сковороде. Но голод-то и тогда не был тёткой, и готовый продукт даже она с аппетитом умяла. Ещё три рыбинки, что помельче, были помещены в ванну, где ловко заплавали в воняющей хлоркой воде. Туда же отправился и засушенный почти до состояния воблы рыбий ребёнок.

Сразу скажу, что он отмокал пару часов, потом задышал, наутро мы увидели его лениво плавающим кверху брюхом… опущу несколько стадий оживания… скоро карпик уже весело гонял по кругу, жадно оглядывая окрестности. Сын немедленно назвал его Стёпкой, и выгнать ребёнка из ванной стало совсем невозможно. Кстати, остальные рыбы тоже получили имена, которые я уже совершенно позабыл.

С этого момента и начались наши серьёзные проблемы.

Мне придётся вспомнить ещё один случай, приключившийся совсем незадолго до того. Мы отдыхали в любимом нашем Коктебеле, тогда официально называемом Планёрским. Однажды Максик с таинственным видом позвал меня и повёл кривыми коктебельскими переулками. Там на хилой лужайке паслась маленькая симпатичная овечка, привязанная к колышку бельевой верёвкой.

«Это Стелла, — сказало дитя, — мы с ней подружились».

«Хорошая, — одобрил я. И непедагогично добавил: — Давай её на шашлык заберём?»

Ребёнок строго посмотрел на меня и с выражением сказал: «Знакомых животных не едят!»

Теперь вам понятно, что ни о каком поедании имеющих имена рыб речь уже не шла. Я поначалу робко предлагал отнести новых жильцов в ближайшую

речку-вонючку, но в ответ слышал суровые напоминания о давно обещанной собаке и сдавался. Потихоньку наступили осенние холода, а потом и завьюжило.

Так они и жили в нашей ванне аж до весны. Весело плескались, плюя на хлорку, съедали в день по полбуханки хлеба, всю оставшуюся от завтрака кашу и, соответственно, успешно какали в эту же воду. Скоро старшие, как сказали бы сегодня, мутировали, выросли вдвое и стали похожи на крупных жителей океанских глубин. Хлорка действовала, видимо, как наркотик, и зверюги присматривались к нам весьма плотоядно. По крайней мере, выражение глаз у них было как у меня перед задержавшимся обедом. А недавний задохлик вырос до размеров вполне товарных и на жратву оказался самый злой.

Когда нам надоедало мыться в тазике, мы этих дармоедов высаживали в самую большую кастрюлю. Они не сопротивлялись и вроде даже радовались такому разнообразию в своей барской жизни.

…Привыкают люди ко всему, даже к аквариуму там, где обычные сограждане принимают душ. Сжились с нахлебниками и мы, общались с ними, играли, а ребёнка просто было от них не оттащить.

И всё же весной я собрал семейный совет и поставил вопрос ребром. Макса продуманно добил аргументом, что наши рыбы живут хоть и в сытом, но рабстве. Как будто в тюрьме. И сын сам предложил выпустить их в окраинное водохранилище, где даже официально разрешалось купаться.

В троллейбусе народ смотрел на нас с уважением, поскольку добыть живую рыбу не в сезон тогда могли только очень важные люди.

На берегу мы торжественно выпустили наших рыбин в неведомую вольную жизнь, с каждым прощаясь уважительно, однако с облегчением. Макс долго не мог расстаться с подросшим Стёпкой, но и эта проблема понемногу устаканилась.

Домой летели как на крыльях. Нас ждали освободившаяся ванна и нетронутая буханка хлеба.

Через некоторое время среди городских рыбачков поползли слухи, что в тёмной воде водохранилища завелась «настоящая» рыба, с лопату величиной, что она не идёт на крючок, но по вечерам прыгает как дельфин. А временами подплывает к берегу и смотрит на человека пристально, словно гипнотизируя. Один вечно хмельной рыболов даже утверждал, что она в сумерках высунула голову из воды и грубым голосом потребовала у него хлеба и каши.

Мокрое дело

Голова второй день разваливается на куски: приближаются грозы, лукавые метеорологи обещают сильные дожди… И мне вспоминаются разные «мокрые дела» — в прямом, совсем не криминальном смысле.

Командировка от своей молодёжки в славный посёлок — районный центр, и по газетным делам, и в гости к чудесному парню Грише, первому секретарю райкома комсомола.

Это был невысокий, но крепкий, ладный и улыбчивый человек. В районе его любили за простой нрав и готовность всем помогать.

Знаменит был Гриша и невероятным умением играть на берёсте — воспроизводить трели соловьёв и других птиц, да так, что пернатые отзывались по всей округе! Но мог Гриша выводить и «серьёзную» музыку — от «Камаринского» до «Турецкого марша» Моцарта. И делал это так лихо, что прошёл со своей берёстой все сцены по восходящей, вплоть до Кремлёвского Дворца съездов, и сам Леонид Ильич там аплодировал самородку из глубинки!

Гриша любил после третьей достать из красной коробочки красивую медаль лауреата и молча всем показать, а потом глубокомысленно добавить: «Вот!»

А как мы рыбачили на извилистых, заросших кувшинками местных речках, как варили на берегу уху... Под неё славно шёл Гришин самогон двойной очистки, настоянный то на калгановом корне, то на калине или бруснике — комсомольский вожак был большим умельцем по этому делу! Что его в конце концов и сгубило: спился наш Гриша на пороге перестройки и сгинул так, что даже следов его я потом не смог найти.

Однако пока не было у меня друга задушевнее, и стремился я к нему всем сердцем.

Но на этот раз дорога не заладилась. Параллельно земле летела мокрая гадость, тогда ещё гравийная дорога раскисла, и водитель автобуса высадил всех местных, и меня тоже, за двенадцать километров до посёлка. Так что когда я добрался до Гришиного дома, был мокр насквозь и настолько промёрз, что зубы просто лязгали.

Гриша по-старушечьи запричитал, лапами своими замахал и понёсся баньку топить. Она-то меня и спасла от тяжкой простуды, а то и от чего похуже. Спина гудела от дубовых веников с парой веток можжевельника, со лба каплями стекал пот, а на столе уже громоздились тарелки с соленьями-вареньями, и шкворчали на огромной сковороде знаменитые местные фирменные сочни — творение Гришиной жены Даши, такой же небольшой, кругленькой и очень домашней. Не те это были сочни, печёные, к каким все привыкли, а жареные, из пресного теста, в половину тарелки величиной. И домашний творог в них был без сахара, зато с разнообразными лесными ягодами! А посередине стола возвышалась царских ещё времён клеймёная четверть. Сквозь зелёное стекло на её дне просвечивали разбухшие брусничины...

Опущу все подробности той замечательной и долгой трапезы. Замечу только, что прерывалась она и душевными разговорами,

и Гришиной гармошкой, и припасённой для меня гитарой. Под её немудрёный аккомпанемент засвистал Гриша на своей берёсте, да так славно, что слёзы на глаза навернулись!

Наутро хозяин сыграл побудку ранёнько и заявил, что хочет накормить меня копчёной щукой, а для этого надобно её, как минимум, поймать. На мои стенания он не отреагировал, упаковал меня в старую плащ-палатку, резиновые сапоги, запихал в свой бывалый «козлик», и мы отправились...

Спиннинги тогда были не чета нынешним, леска у меня всё время путалась, но пару щурят, несмотря на непогоду, я всё-таки выловил. А Гриша таскал вполне приличных щучек одну за другой. Мы быстро промокли, но азарт рыбалки всё превозмог.

А как потом Гриша коптил этих щук! Как ставил на угли железную бочку, как колдовал над рыбинами одному ему известным способом, как вывешивал их на жёрдочках, как строгал ольховые чурочки... Это отдельная песня, доложу я вам!

Ели мы первую, пробную, прямо здесь, в саду, под нудной моросью, обжигаясь и охая от удовольствия. Вослед славно шли оставшийся с вечера самогон и шипучий домашний квас. Потом, нагруженного рыбой и парой заветных бутылок, вёз меня Гриша до трассы и долго стоял под дождём, глядя вослед автобусу…

Куда же вы исчезли из моей жизни, странные люди — и комсомольский секретарь со своей берёстой, и кузнец из Заволжья, между подковами и лемехами ковавший розы и мудрёных зверей, и священник, которого я знавал ещё как Лёшу-ювелира из Красного-на-Волге... Он приходил ко мне, нехристю, «поговорить о божественном», видно, больше не с кем было... Куда вы ушли, не оставив следов, а только зарубки на моей памяти.

Смерть Дантона на третьем курсе

Это было в середине семидесятых, когда я, поучившись три года на журфаке МГУ (заочно, поскольку уже вовсю работал в газете для прокорма молодой своей семьи) и благополучно его бросив, решил попробовать свои силы в ГИТИСе, на театроведческом факультете. Так как эта каниель мне тогда уже прилично поднадоела, я пробил разрешение сдавать экзамены экстерном, до первой четвёрки.

Сразу скажу, что я таки её получил… на последнем экзамене по предмету «Театр народов СССР» (!). Но это было простительно, поскольку у престарелого профессора Георга Гояна по прозвищу «2000 лет армянского театра» и тройки-то мало кто получал. Вот я и тянул с походом к нему, по-стариковски прихворнувшему, домой, где он часами, за чашечкой вкуснейшего чая с пирожками, мучил каверзными вопросами избранных студентов. Помню, как, выйдя от Георга Иосифовича на лестницу, я буквально рухнул

на ступеньки и… заснул невесть на какое время.

Впрочем, сегодняшний рассказ совсем не об этом. Сессии мои в ГИТИСе проходили в каком-то угаре: появился некий спортивный азарт, и я стремился побивать собственные рекорды по количеству сданных за неполный месяц экзаменов. Я был парень уже прилично начитанный и ночи тратил только на затыкание имеющихся в знаниях прорех. При этом выпивалось море сухого грузинского вина и выкуривались километры «Беломора»… Похвастаюсь: мой личный рекорд, уверен, до сей поры никем не побитый, составил 21 экзамен за 20 дней, не считая зачётов и курсовых, которые сочинялись тут же, в общаге. Замечу для молодых читателей: тогда ещё не было ни компьютеров, ни интернета, и рефераты действительно писались каждым самостоятельно. Списывать их считалось зазорным, да и педагоги были нынешним не чета, с феноменальной памятью на когда-то прочитанные работы.

Вот мне и предстояло до утра наваять страниц тридцать умного текста. Тему я выбрал из любимого моего Брехта, о котором знал всё, что к тому времени было опубликовано. Но прежде решил пару часов почитать пьесы к экзамену по зарубежному театру. Тут меня и ушибло. Судьба мальчика по именно Георг Бюхнер, который прожил всего 23 года, по следам Великой французской революции принял участие в гессенских бунтах, стал автором знаменитого «Мир хижинам, война дворцам», в революции жестоко разочаровался, написал могучую драму «Смерть Дантона» и умер от потери мечты — эта история заставила забыть о суровой необходимости готовиться к экзамену.

Я схватил обгрызенную свою шариковую ручку и торопливо стал писать… Это сейчас привычны стихи в формате А4, но тогда я и не представлял, что совершаю некое открытие!

Вот начало этого текста:

«Однажды в ночь, когда до стона спать хочется, я «Смерть Дантона» был вынужден читать. К чему скрывать всё это. Моему экзаменатору известно, как в сутках нам бывает тесно, когда экзамен поутру, когда часы, как ветер, мчатся, и не забыть, не задержаться, и, кажется, напрасный труд томов распластанные груды осилить. Ожидаешь чуда, которое тебя спасёт.

Потом рассвет, увы, встаёт. И у разбитого корыта ты остаёшься. И омыта зачётка лёгкою слезой.

Да, это так, но всё ж порой случается подобье чуда. Ты забываешь, кто, откуда, зачем, что будет через час, и оторвать не можешь глаз от перевёрнутой страницы. Так странниц матовые лица, которых не встречали мы, привидятся — в толпе, в массовке, и тут напрасны все уловки, сбивается привычный шаг, и сердце просит остановки и размышления.

Вот так однажды в ночь, когда до стона спать хочется, я «Смерть Дантона» открыл. И словно взмахом крыл, а может, хлопнула фрамуга, сквозняк впуская, тотчас был развеян сон. С портрета — он взглянул случайным взглядом друга.

Нет-нет, не гибнущий Дантон — придумавший его мальчишка, бунтарь и книжник, без излишка хлебнувший терпкого вина, которое зовут эпохой, историей. И чья вина, что, встреченные слишком плохо, он и товарищи его не доказали ничего. Что «промежуточное время» уже расставило силки неверия, слепой тоски. Что в патетической поэме борьбы и боли лишь строкой, одной-единственной, мелькнули они, короче свиста пули, быстрей, чем не наставший бой.

Портрет обманчив. Этот мальчик (припухлость губ, шершавость щёк) не тронут веком. Но ещё — деталь на титульном портрете: глаза, невольные как стон. И я, забывший всё на свете, проваливаюсь в этот сон. Там есть слова, душа и строки, и строгие настали сроки войти. И пусть с улыбкой глядит История сама, диктуются его ошибки величьем сердца и ума...»

А дальше шли маленькие эссе, написанные ритмизованной прозой, — о революции, пожирающей своих детей. И во Франции, как об этом рассказал Бюхнер, и у нас, в России. Текст был буквально напичкан крамольными для того времени мыслями. Я даже умудрился сравнить Дантона с Троцким, а Демулена — с Бухариным, ещё ничего почти не зная о них, кроме пропагандистского вранья...

Наутро я отправился на экзаменационную экзекуцию к строгой, красивой и безмерно интеллигентной Галине Борисовне Асеевой. Для начала положил перед ней исписанные моим корявым почерком листы.

Галина Борисовна принялась читать, споткнулась о первые же строчки, сказала: «Во как...», глянула на меня своими фиолетовыми из-за очков глазами, снова уткнулась в мой опус и уже не отрывалась до вполне хулиганских «Выводов». Потом молча поставила мне в зачётку две пятёрки — за курсовик и экзамен, свернула мои листочки в трубочку и величественно удалилась. И только в дверях спросила: «Второй экземпляр есть?» Я отрицательно замотал головой. «И хорошо», — пропела ГБ, исчезая в гитисовских лабиринтах.

Так я и остался, совершенно не расстроенный утерей своего шедевра, тем более, что вступление я сразу запомнил наизусть.

PS: Говорили мне потом, что этот текст ходил в списках среди преподавателей.

PPS: А ГИТИС я окончил за неполных три года. Потом, со второго захода, поступил туда же в аспирантуру, но это, как говорится, уже совершенно другая история.

Череп Дон Жуана

Посмотрели видео — Михаил Козаков читает Бродского и Мандельштама…

Мы с Надей насквозь ностальгировались. Потому как с Козаковым у нас был связан заметный кусок жизни.

В 1977 году я договорился о выступлении тогда ещё студенческого самодеятельного трио «Меридиан» в концертной гостиной московского Дома актёра. Кто не помнит — он тогда располагался на площади Пушкина и славился не только замечательным рестораном, но и недурными творческими вечерами.

Никому не известных ивановцев в знаменитом Доме актёра встретили с опаской, насторожённо. Но и не без любопытства. Перед «Меридианом» предполагалось явление Михаила Козакова с чтением стихов — он тогда уже был не только жгучим Педро Зуритой из культового фильма «Человек-амфибия», но и вообще знаменитым актёром и декламатором.

МихМих отчитал всё больше любимого своего Пушкина, очень хорошо, хотя и несколько по-пижонски… Он вообще выглядел этаким Актёр-Актёрычем немного. Как сказали бы мои провинциальные друганы, «весь на понтах»…

Как нам позже рассказал сам Михаил Михайлович, это было трудное для него время, и он прятался за такой вот защитной маской.

Так вот, когда мэтр откланялся, он уселся в кресло, скрестив руки на груди и с заметной скукой поглядывая по сторонам. Кое-кто из зрителей уже стал подтягиваться к выходу, но тут запел «Меридиан» — и всё навсегда переменилось. Откуда-то из окрестных коридоров потянулся актёрский народ, свободных мест быстро не стало, молодёжь уже усаживалась прямо на пол…

Оживился и МихМих. В какой-то момент он вдруг стремительно подошёл к слегка напуганным происходящим «меридианцам» — и началось! Козаков, сломав намеченную программу, читал стихи, трио пело по им одним понятным ассоциациям, Надя вовсю импровизировала джаз — этого требовали тексты…

Продолжалось сие безобразие намного дольше, чем заранее обговаривалось.

Зрители долго аплодировали, Козаков облапил всех троих провинциалов и неожиданно, возможно, сгоряча, пообещал приехать в Иваново для совместного концерта.

Как ни странно, слово своё он сдержал.

Нам предоставили в выходной день зал Ивановского театра музкомедии, который в урочный час оказался забит под завязку. Несмотря на то, что днём прошла единственная репетиция, первое отделение прокатилось на ура. В антракте Козаков был в явно

приподнятом настроении и щедро хвалил молодых партнёров.

Второе отделение начали на таком кураже, что зал просто грохотал аплодисментами.

И вот пришло время МихМиху читать одного из любимых его поэтов — Давида Самойлова, безусловно, коронного «Старого Дон Жуана». Поставив ногу на суфлёрскую будку, Козаков простёр к залу руку и произнёс:

— Ибо скоро, очень скоро,
Ляжем рано средь тумана —
Старый череп Командора,
Старый череп Дон Жуана.

В эту же секунду раздался громкий треск, что-то полыхнуло, чтеца скрыли густые клубы дыма, и в зале погас свет! Только красная дежурная лампа смутно освещала стремительно опускающийся железный пожарный занавес да рассеивающийся дым. Козакова на сцене… не было!

Поскольку я с самого начала волновался за кулисами, то сразу вместе с помрежем бросился вниз, на место происшествия. Возле пульта электрика мы увидели бездыханное тело. «Убило!» — застонал помреж. Но тело зашевелилось и заговорило матом. Оказалось, что вусмерть пьяный электрик перемкнул что-то не то, и не только проводка, но и звуковая аппаратура накрылись безвозвратно…

К счастью, пожара не последовало, мы оставили электрика отсыпаться и грустно пошли в, как мы думали, опустевший зал. Однако, к нашему несказанному удивлению, обнаружилось, что не ушёл ни один зритель! Все сидели хотя и перепуганные, но явно ожидающие продолжения банкета. Нюхали пропитанный ароматом горелых проводов дым, но с места не двигались.

Козаков был нами обнаружен за кулисами. Он, вопреки всем правилам, покуривал свою трубочку, а ребятам бросил: «Надо работать!»

И все четверо вышли на авансцену, встреченные рёвом публики. Откуда-то появились несколько фонариков, слегка подсветивших лица, и великий актёр, вместе с вроде бы самодеятельным, а на самом деле замечательно профессиональным ансамблем, врезал на полную катушку! Он читал, а «Меридиан» пел без всякого усиления, но в зале стояла такая тишина, что каждое слово и каждая нота попадали точно в цель.

……

Потом были несколько совместных выступлений Козакова и «Меридиана» в Москве. Случались и чаепития у МихМиха дома — с разговорами до утра о театре, о поэзии, с чтением запрещённого Бродского, с повествованием о трагической работе Козакова-режиссёра над «Пиковой дамой»…

Может, и напишу ещё об этих встречах подробнее. Когда-нибудь.

.....

Когда я учился в аспирантуре, жил в Москве один и семью не видел неделями, тогда эти вечера у Козакова дома были для меня просто спасением. Обычно я звонил и с робкой наглостью предлагал: «Не кап ли нам оф ти, Михал Михалыч?» На что маэстро утомлённым голосом ответствовал: «Ну, разве только по чашечке, совсем у меня нет свободного времени…»

Результатом оказывался многочасовой разговор о театре, поэзии, о Боге и человеке, о будущем страны…

Когда тогдашней жене Козакова Регине удавалось разогнать нас, уже обычно светало. Я отправлялся пешком на Трифоновку, в общежитие ГИТИСа, а МихМих скорбно шёл спать. До утренней репетиции оставалось всего несколько часов.

.....

В последний раз я видел МихМиха во время первой своей поездки в Израиль — в спектакле «Возможная встреча», он поставил эту пьесу Барца и сыграл Генделя. А роль Баха исполнял незабываемый Валентин Никулин. И спектакль был хорош, и Козаков просто великолепен. Я отбил ладони, аплодируя.

После спектакля публика ломанулась за кулисы общаться. Я нашего Актёр-Актёрыча не видел очень давно и побоялся, что он меня не узнает. Потому и не стал толкаться в толпе, где почти каждый громко называл премьера Мишей и старался привлечь к себе внимание. Но на следующий день, пребывая в доме гостеприимного Игоря Губермана, по его наущению всё же позвонил… И услышал полный обиды голос МихМиха, пенявшего мне за излишнюю скромность. Оказывается, он заметил меня в небольшом зале и ждал.…

В этот день я улетал в Россию, и времени на встречу уже не оставалось. Так мы больше и не повидались до самой его ужасной одинокой смерти.

Как я хунту прозевал

Середина августа 91-го года стояла просто замечательная: в деревне было солнечно, но не слишком жарко, иногда пробегал лёгкий, однако достаточно густой дождик, посему грибы пёрли из земли стаями и рыба в нашей реке Тезе ловилось круглосуточно.

Жена на свой день рождения усвистала в любимый Коктебель, так что ежеутренне я с самого ранья брал своего рыжего добродушного пса, торбочку еды и убредал то в леса, а то и на реку. Сильно не перетруживался, собирал и ловил не больше, чем можно было съесть за пару дней. Больше гулял, смотрел на небо и на воду, играл с собакиным и купался вместе с ним в глубоком бочаге. Возвращался затемно, когда и работящая, и пьющая части деревни уже

сладко почивали. Жарил то грибочки с молодой картохой, то щурят или плотичку и под стакашек чистейшего самогона вечерял, честно делясь снедью со своим всеядным псом. Потом засыпал как младенец и легко вставал с рассветом…

Но день 21 августа у меня не задался: я подвернул ногу, да ещё пёс мой отказался купаться и в знак протеста убежал домой — хорошо ещё, что в деревню, а не в город за 50 км… Поэтому по самому солнцепёку я поплёлся в село.

Наше Введеньё гудело, народ кучковался у ворот и что-то бурно обсуждал. Даже вечно пьяный Венка, которому уже давно пора было дрыхнуть под любимым кустом сирени, размахивал руками, аки мельница, и тоненьким старческим фальцетом что-то неразборчиво доказывал. Под ногами крутились блохастые местные собаки, среди которых я с облегчением опознал своего интеллигентного Клайда.

Моя соседка Галя, крупная костистая тётка, фронтовичка и матерщинница, увидела меня, скинула с губы прилипшую беломорину и трубно заорала на всю улицу: «Борисыч, туда-сюда-твою-епертыть! Ты где был? У нас тут хунта, татататратата.…»

Собаки прыснули во все стороны, Клайд запутался в моих ногах, а почти протрезвевший Венка шлёпнулся тощим задом в уличную пыль.

И долго потом на своём особом языке деревенский люд пересказывал мне телевизионные впечатления последних трёх дней…

Вот так я хунту, то есть ГКЧП, и прозевал.

Напоследок Венка, речь которого обычно была маловразумительна, вдруг сосредоточился и вполне разборчиво выпалил: «Слабаки, ипонабть…»